

**ПОТОЛОК ПОЛА: СБОРНИК НАУЧНЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ  
СТАТЕЙ / ПОД РЕД. Т. БАРЧУНОВОЙ. НОВОСИБИРСК: НОВОСИБИРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ; РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 1998. 229 с.**

На футболке с эмблемой прошлогодней Третьей Российской школы по гендерным и женским исследованиям пришта экетка: “American Style T-Shirt”. В чем-то это сочетание мне кажется совсем не удивительным, если не сказать симптоматичным. Гендерные и женские исследования возникли и продолжают развиваться в России, да и в целом в Восточной Европе, в основном по инициативе тех, кто имел и имеет доступ к иностранной литературе. Не случайно многочисленные восточно-европейские феминистские и гендерные “посиделки” рано или поздно сводятся к вопросу – надо ли знать английский, чтобы быть *настоящей* феминисткой. Или – чтобы заниматься “гендерными” исследованиями. Вопрос тут в сущности не только и не столько о терминологическом и концептуальном заимствовании. За ним стоят более серьезные проблемы формирования и совместимости различных научных традиций и научных систем. Более того, в контексте выводов Мишеля Фуко о взаимосвязи власти и знания, проблема “теоретического импорта” обречена иметь и свое политическое измерение. В рамках которого, например, “гендерные исследования” вполне могут выступать в качестве очередной, правда, более изоциренной, формы империализма – как культурного, так и эпистемологического. Империализма, чьи дискурсивные практики, давая *возможность рассуждать* о проблемах пола, одновременно ограничивают конкретные *формы* и *способы* подобных рассуждений. Используя западную терминологию, концепции и стиль аргументации, можно спросить: не маскируют ли при этом специалисты по гендерным исследованиям смену столь ненавистной гегемонии “патриархальной”, “патриархатной” и “маскулинистской” культуры (или культур?) гегемонией того, что Гайатри Спивак, известная индийская переводчица и интерпретатор работ Жака Деррида, называет “сестриархатом”? Когда место Большого Брата занимает Старшая Сестра...

Возрождающимся российским исследованиям в области философии и социологии пола, половых практик и половых иерархий от подобного вопроса о сущности своих взаимоотношений – эпистемологических, властных, практических, да и финансовых – со старшими братьями и сестрами “по разуму” не уйти. В книге, о которой речь пойдет ниже, такая попытка сделана. На мой взгляд, “Потолок пола”, вышедший в конце 1998 года, представляет собой новый, достаточно интересный этап в развитии философии и социологии пола в России. На смену многостраничным интерпретациям плохо переведенных текстов феминистской теории и публицистики, неизменно сопровождающимся утомительными терминологическими спорами по поводу того, как и где именно “локализовать” гендер, пришло понимание того, что без *собственного* объекта исследования заимствованная теория так и останется заимствованной теорией – причудливым животным, не дающим потомства в неволе. С этой точки зрения “Потолок...” – продукт вполне отечественный, способный, однако, выдержать конкуренцию с зарубежными аналогами.

Начну с “Подвала” и “Пола”. Татьяна Барчунова, редактор и один из авторов сборника статей преподавателей и аспирантов/магистрантов из Новосибирска, выстроила в книге трехуровневое теоретико-методологическое пространство с соответствующими рубриками: “Подвал”, “Пол”, ну и, наконец, “Потолок пола”. Основные действия происходят, как и следует ожидать, именно на “Потолке”, и о них речь пойдет чуть ниже. “Подвал” и “Пол” же представляют собой своего рода фундамент с вполне соответствующими ему двумя фундаменталистскими статьями.

“Феминизм в этическом пространстве” Олега Доманова стал интересной философской попыткой примирить два, казалось бы, исключаящих друг друга подхода. С одной стороны, это стремление ряда феминистских теоретиков-постструктуралистов “дестабилизировать” как само *понятие* “идентичности” – в ее коллективной и индивидуальной форме, – так и *собственно идентичность*, то есть представление индивида о его/её собственном месте в сложившейся системе социальных, культурных, экономических и т.д. отношений. С другой стороны, это попытка феминизма реализовать себя как определенное движение, базирующееся

на осознании определенных групповых интересов и, следовательно, направленное на укрепление и развитие именно группового, объединяющего, элемента (женской) идентичности. Шейла Бенхабиб, известный политолог из Гарварда, реагируя на подобного рода несоответствие между теоретическими и практическими установками феминизма, заметила как-то: “Доведенный до своего логического предела, постструктурализм превращается в теорию без адресата, основанную на идее субъекта, лишенного какого бы то ни было центра... Не упускает ли из виду данная постструктуралистская версия феминизма основную причину, вызвавшую его к жизни?” [1, с. 40].

Доманов на этот вопрос отвечает отрицательно, поскольку осознание “навязанного”, “социального”, иными словами, сконструированного характера половой, классовой, национальной и т.д. идентичности и её последующая дестабилизация не могут быть сведены исключительно к факту отрицания этой идентичности. Как пишет Доманов, “...навязывание культурной идентичности приобретает этический оттенок. Оно перестает быть насилием и становится обращением. Осознание исторических и социокультурных ограничений, в которых находит себя человек, предлагает не освобождение от них, а ответ... Согласие или несогласие принять идентичность относится не только к процессу моего самостроительства или обретения личной свободы, но и является ответом другому человеку” (с. 225). Феминизм у Доманова как раз и является формой такого “ответа другому” (или Другому?). Подобная точка зрения далеко не бесспорна, и корни ее противоречий лежат в её же собственной исходной посылке, а именно в гуманистической убежденности в том, что истина существует. Даже если эта истина выступает в форме осознания ответственности за собственные поступки, за их телеологический эффект. “Дестабилизация разрушает идентичность, но не разрушает человека,” – пишет Доманов. – ...Она показывает силу, которую человек имеет просто по причине своего существования” (с. 224). Силу, дарованную свыше?

Елена Николаева в статье “Мужчина и женщина глазами психофизиолога” дает принципиально иное объяснение источника “силы, дарованной свыше”,

благодаря которой, собственно, и формируется половая идентичность. В отличие от Доманова, в данном случае финальным аргументом являются не внешние, трансцендентные, силы, а природные качества и механизмы. Несколько лет назад Донна Харавэй, биолог и историк науки из университета в Санта-Круз, опубликовала книгу, в которой подобного рода “природный” подход к проблеме половой идентичности получил название “глазами приматов”, то есть он базируется на молчаливом признании того факта, что существует параллель между психофизиологическими процессами в “мире животных” (где приматы являются основой для изучения данных процессов) и социально-психологическими процессами в “мире людей”. Работа Николаевой – хороший пример из данного ряда. Приведу лишь несколько параллелей из жизни “двух миров”, содержащиеся в статье Николаевой. Описывая механизм нервного контроля сексуального поведения, Николаева пишет: “Медиальная преоптическая область – ростральный отдел гипоталамуса – непосредственно связана с мужским сексуальным поведением. Электрическое раздражение этой области ведет к попыткам копуляции (половому акту) у крыс” (с. 23). Или: “Сексуальное поведение у женщин в большей степени связано с вентромедиальным ядром гипоталамуса. Повреждение этого ядра ведет к отсутствию лордоза у самок крыс” (с. 24). Николаева, правда, замечает, что “нельзя просто распространять данные, полученные на животных, на сексуальное поведение человека” (с. 27). Видимо, затем, чтобы тут же привести целую цепь примеров того, как гормоны-возбудители (“феромоны”) влияют на сексуальное поведение свиней, мышей и, в конце концов, женщин...

Общее стремление Николаевой доказать, что “неодинаковые стратегии выживания” мужчины и женщины обусловлены различиями их биологического строения, очевидно. Сложнее с самим доказательством, вернее, с его логикой. Как, например, в этой цитате: “К сексуальному поведению у людей имеет отношение также височная доля мозга, поскольку ее дисфункция ведет к снижению сексуального желания. Например, эпилептические припадки, обусловленные повреждением височной области, сопровождаются снижением сексуального интереса.” (с. 24). Остается в принципе непонятным – почему, собственно,

эпилептические припадки должны рассматриваться в контексте сексуального влечения? А как насчет кашля? Или инфаркта? Помимо подобного рода непроясненных и неочевидных логических связей, в статье, изобилующей примерами и статистикой о различиях в реакциях *между* мужчинами, (или самцами) и женщинами (или самками), упорно обходится вопрос о разнице в реакциях *среди* мужчин/самцов и *среди* женщин/самок. Сопоставимы ли “внутривидовые” различия и сходства с “межвидовыми”? Остается без анализа и исторический контекст исследований, на которых базируются выводы статьи. Когда Николаева говорит о том, что “женщины точнее вспоминают расположение вещей”, а “мужчины обладают навыками в тестах с прицеливаниями” (с. 37), невольно вспоминается другая хорошо известная версия подобного же тезиса – о женщинах-собирательницах и мужчинах-охотниках. Что произойдет с “прицеливательными” качествами мужчины, если его с раннего детства будут приучать к “сбору подножного корма”, и как будут выглядеть мнемонические способности женщины, если вместо Барби ей дать рогатку? Вопросы подобного рода остались за рамками статьи, равно как и общая проблема роли и степени воздействия культурных нормативов на развитие природного потенциала индивида. Подход, при котором пол понимается как “совокупность морфологических и физиологических особенностей организма, обеспечивающих половое размножение, сущность которого сводится, в конечном счете, к оплодотворению” (с. 12), может быть вполне, так сказать, плодотворен при анализе репродуктивных способностей крыс и приматов. Однако он вряд ли способен сделать необходимый качественный скачок для того, чтобы служить основой для интерпретации социальных процессов.

Раздел “Потолок пола” содержательно занимает равноудаленную позицию как от этического фундаментализма “Подвала” Доманова, так и от природной заданности “Пола” Николаевой. Статьи, представленные в этом разделе, можно разделить на три основные группы.

Работа Ольги Зиневич (доцент кафедры философии Новосибирского госуниверситета) “Философия любви” в Новосибирском университете” является

единственной работой в сборнике, обобщающей авторский опыт чтения обзорного курса лекций по философии любви – начиная от культурного наследия стран Востока и заканчивая Ж. Батаем (в статью включена программа спецкурса). Статья, строго говоря, не дает обоснования того, почему именно та или иная трактовка любви вошла в курс лекций. Почему, например, Ж-П. Сартр, а не С. де Бовуар? Или – почему К. Юнг, а не М. Кляйн? И почему, собственно, “вся любовь” заканчивается на Г. Маркузе и Ж. Батае? Вопросов такого рода можно задавать множество, но статья, повторяю, интересна не столько концепцией курса, сколько теми непосредственными впечатлениями и советами, которые могут оказаться полезными для любого, кто приступает к чтению или подготовке подобной учебной программы.

Ко второй группе материалов относятся четыре статьи молодых новосибирских исследователей. Они могут рассматриваться как пробные шаги, первые подступы к философии и социологии пола. Шаги, может быть, не всегда устойчивые, но достаточно самостоятельные. Например, в полемическом эссе “Нравственна ли девственность?” Ольга Андреева пытается перевести философию и философствования о любви в термины “практики любви”. Рассматривая проблему девственности в контексте феномена вины, Андреева заключает: “До тех пор, пока потеря девственности остается “даром” кому-то, предметом продажи кому-то или данью отчужденному от индивида стереотипу, иначе говоря, асимметричным ригидным предписанием, отчужденным от субъекта качеством, а не сознательным решением, фактом внутренней свободы, свободы допущения другого человека в свой домен, девственность будет чуждой идеалу подлинного целомудрия или мудрости целостности, поддерживающей нравственность” (с. 193).

Екатерина Таратута («Ирония и скепсис в изображении женщин-эмансипирé: на примере сочинений И.С. Тургенева») и Лариса Косыгина (“Мужчины и женщины в таблицах и анекдотах”) исследуют в своих работах две полярные формы символической стереотипизации образов мужчин и женщин. В статье Таратуты речь идет о формировании в рамках господствующей элитарной *письменной* культуры конца прошлого века определенной системы восприятия и

отражения изменений роли женщин в российском обществе. Или, словами самой Таратуты, в статье речь идет об использовании художественной литературы в качестве материала “для изучения отношения образованного общества к женскому протестному поведению” (с. 148). Косыгина, в свою очередь, сконцентрировалась на аналогичном процессе стереотипизации, происходящем сегодня в рамках культуры устной и массовой – то есть в культуре анекдота. Ни одна из авторов при этом не объясняет, насколько специфика романного жанра или короткого анекдота определяет *процесс* стереотипизации, и, таким образом, его результат. Более того, обе статьи демонстрируют общую принципиальную установку на то, что между *репрезентацией* реальности и *самой* реальностью отсутствует какой бы то ни было зазор, промежуток, несовпадаемость. В итоге, анализ “художественной литературы как особого типа реальности” Таратута считает возможным дополнять и подтверждать фактами собственно реальными, теряя при этом из виду как раз ту “особость” художественной реальности, которую она взялась интерпретировать. Сходные приемы демонстрирует и Косыгина, легко экстраполируя выводы анализа сборников анекдотов, “случайно оказавшихся под рукой” (с. 150), на “российское общественное сознание” в целом (с. 159). Какое отношение анекдоты про “герра Питера и фрау Марту” или про “Ольгу и Жоржа” имеют к “гендерному анализу молодой семьи современной России”, которым занимается Косыгина, остается неясным.

Андрей Дерябин (“Репрезентация гендерных отношений в русском музыкальном видео”) предложил иную “стратегию чтения популярного текста”, во многом основанную на традициях британской (бирмингемской) школы исследований культуры. Взяв за основу своего анализа два видеоклипа (“Я не буду тебя больше ждать” В. Сташевского и “Другая женщина” А. Варум), Дерябин удачно продемонстрировал факт изначальной (в данном случае – “гендерной”) полисемичности текста/клипа, ориентированного на массовую аудиторию (“пассивный мужчина, контролирующий ситуацию” и “решительная женщина, которая не в состоянии ничего изменить”). При этом, однако, Дерябин ушел от ответа на очевидный (и традиционный для данного типа исследования) вопрос –

является ли данная полисемичность популярного текста неотъемлемым компонентом самого текста? Или, скорее, она является результатом интерпретационной искушенности читателя, способного увидеть претензию “на власть, большую, чем... отпущено социальной системой”, в том, как “героиня Варум наманикюренной женской ручкой заряжает револьвер (одиозный фаллический символ)” (с. 133)?

Интересные по своей проблематике и нетрадиционные в своих подходах, упомянутые статьи блока “Потолок пола” являются, тем не менее, своего рода дополнением к трем центральными работам книги – “Вариациям в ж-миноре на темы газеты “Завтра” (женщины в символическом дискурсе националистической прессы)” Татьяны Барчуновой, статье Татьяны Максимовой о “Женских романах и журналах на фоне постмодернистского пейзажа, или “каждая маленькая девочка мечтает о большой любви”, и, наконец, социологическому исследованию Анны Михеевой о “Дорогах к семье, которые выбирают женщины (истории матерей внебрачных детей)”.

Сначала – о журналах и романах в интерпретации Т. Максимовой. Тот факт, что “женские романы” выполняют целый ряд социально-психологических функций, стал уже общим местом в исследованиях массовой литературы – будь то литература, ориентированная на женщин, на мужчин или на детей. То, что Максимова называет сегодня одним “из способов освоения сложных механизмов социализации в культурно неопределенном мире” (с. 94), еще не так давно трактовалось как “воспитательная роль литературы и искусства”. С этой точки зрения между журналом “Костер” и “Библиотекой приключений”, с одной стороны, и журналом «L’Officiel» и (зарубежными) женскими любовными романами, с другой, *функциональной разницы* нет вообще. Есть, однако, отличия содержательные и структурные, которые, к сожалению, предметом исследования не стали. Заявив о стремлении проследить тенденцию “приживания” современных (западных?) установок в России (с. 110), Максимова, тем не менее, собственно особенности *приживания* западных стандартов практически и не исследует. Приведу лишь один пример. Традиционно женские журналы/романы принято



обвинять в том, что они культивируют у женщин идеалы социальной и личной пассивности (с. 112-113), призванные снять психологическое напряжение, вызванное вытеснением женщин из сферы публичной исключительно в сферу частную. Данный тезис работает довольно успешно на примере положения, допустим, американских женщин в 1950-1960-х годах, в массе своей – обеспеченных домохозяек, живущих в пригородах. Насколько, однако, этот тезис приложим к постсоветской ситуации? Ссылаясь на психоаналитика К. Хорни, Максимова отмечает, что “на протяжении веков женщина была отстранена от значительных экономических и общественных обязанностей. Её жизнь ограничивалась частной эмоциональной сферой” (с. 125). Как это все сопрягается с поголовной трудовой занятостью советских женщин – основных, надо полагать, потребительниц женских романов и женских журналов? Тех самых женщин, для которых проблемы быта и частной жизни зачастую выступали прежде всего именно в этом *проблемном* виде? Как в этих конкретных условиях может восприниматься призыв, допустим, «Harper’s Bazaar» заняться частной жизнью? Как “антифеминистская позиция,” закрепляющая, как пишет Т. Максимова, “традиционное значение половых ролей”? Но насколько традиционны эти половые роли для России? Вполне возможна и другая трактовка, при которой основная аудитория подобного рода литературы – женщины, которые оказались вытесненными за рамки активной социальной жизни уже в новый, постсоветский период, то есть домохозяйки, жены “новых русских” и т.п. О составе аудитории, к сожалению, в статье речь не идет. Остается без ответа и другой, казалось бы очевидный вопрос о соотношении отечественной и зарубежной “женской” прессы/литературы. Является ли “Крестьянка” бедной родственницей “Cosmopolitan” или степень их родства какая-то иная? Аналогичны ли сюжетные линии романов Г. Щербаковой и В. Токаревой сюжетным линиям романов А. Дивайн и Э. Росмен, о которых пишет автор? На мой взгляд, без такого сопоставительного анализа, без такой сравнительной межкультурной корректировки, исследование *специфики* массовой культуры в России,

особенностей ее потребления и восприятия, а также отличительных черт самого потребителя вряд ли может быть успешным.

Подобного рода анализ – с хорошей методологической базой (как правило, основанной на результатах зарубежных исследований), четким выбором объекта исследования, логичным построением аргументации и оригинальной трактовкой собранных материалов – характерен для статей Анны Михеевой и Татьяны Барчуновой.

Основные вопросы, вокруг которых А. Михеева строит свое исследование, просты – какова причина того, что обычно принято называть “сожительством”? Почему женщины решаются стать матерями вне брака? Базируясь на собственном полевом исследовании, проведенном в Сибири, Михеева предложила следующую типологию мотиваций, к которым прибегают женщины для объяснения причин, побудивших их воспитывать ребенка/детей либо в одиночку, либо без официальной регистрации брака. По мнению Михеевой, речь может идти о четырех основных типах дискурса: 1. Дискурс “*распавшегося сожительства*” (“...я решила, что с этим человеком хорошей семьи не будет, он ненадежный, ему нельзя доверить свою жизнь и сына”). 2. Дискурс “*ребенок для себя*” (“...решила родить чисто для себя, зная, что он на мне не женится..”). 3. Дискурс “*полной семьи*” (“Никакого значения не имеет, зарегистрированы мы или нет. Даже, наверное, лучше, что не зарегистрированы – все идет от души, а не от штампа в паспорте.”) И 4. Дискурс “*парадоксальных историй*” (“Мне шел 31 год, я забеременела... и случилось несчастье – ... его убили... Если мужчина не хочет жениться или не может, я что, должна теперь без ребенка остаться? Это должна решать для себя сама я, женщина...”).

Цитаты из интервью, приведенные в статье Михеевой, поражают многим – тем, например, что женщины, с которыми она беседовала, как правило, довольно далеки от тех “пассивных” и “ушедших в себя” созданий, о которых пишет Максимова. Или, например, тем, что мотивация их поступков далека от традиционных стереотипов женского поведения, зафиксированных в русской классике или анекдотах...

Можно не соглашаться в принципе с исходной методологической позицией Михеевой, согласно которой “социальные изменения в демографической сфере общества – институтов семьи и брака – объективно закономерны, неизбежны, практически не зависят от того, по какому пути идет развитие российского общества” (с. 165). По степени институционального детерминизма данная методологическая позиция, пожалуй, не многим отличается от биологической предопределенности, столь хорошо продемонстрированной Е. Николаевой. Интерес, однако, статья вызывает не этим, а тем обилием уникального этнографического – в хорошем смысле этого слова – материала, который Михеева смогла достаточно убедительно организовать и интерпретировать.

Подобное пристальное внимание к материалу в совокупности с оригинальной манерой его подачи свойственно и статье Татьяны Барчуновой, исследующей то, что можно назвать “модальностью” (или, вернее, тональностью) подачи женских образов в российской прессе. Барчунова сконцентрировалась лишь на одном из изданий – газете “Завтра”, проанализировав ее выпуски за июнь 1997 – апрель 1998 годов. Любопытны выводы, сделанные в ходе этого исследования. Так, например, количество упоминаний женщин в “Завтра” на порядок меньше, чем количество упоминаний мужчин. Более того, упоминания эти различаются и качественно – женщины, в основном, ассоциируются с проблематикой искусства и культуры, в то время как мужчины фигурируют в материалах в связи с вопросами внешней и внутренней политики (с. 49-50).

Наибольший интерес в статье, на мой взгляд, представляет анализ метафорического оформления женских образов в газете. Согласно исследовательнице, это оформление имеет определенный лейтмотив, связанный с идеей жертвенности и женщиной как основным символом данной идеи (“дочь России, готовая положить жизнь за други своя,” в определении “Завтра”). Типичным является и в целом негативная репрезентация на страницах “Завтра” российских женщин-политиков (“Спецназ в черной юбке Масюк, бьющая по штабам”, “В Третьяковской галерее выставлена картина “Борис Грозный убивает свою дочь Таню”). По мнению Барчуновой, причины подобного символического

вопроизводства реальности в “Завтра” связаны с господством “архаизированного мифологического менталитета,” проявляющего себя, прежде всего, в идеологии “племенного национализма” с типичной для него враждебностью к государству как институту (с. 86-87). Как пишет исследовательница, “в негативном отношении к женщинам-политикам проявляется не просто унаследованная от советских времен концепция декоративно-эгалитаристского политического участия женщин, когда предпочтение отдается “молчаливым делегаткам”, а социально активные женщины получают клеймо “дур-феминисток”. Дело здесь, по-видимому, во враждебности к государственно-правовой форме деятельности как таковой” (с. 87). Методологическая и риторическая привлекательность тезиса Х. Арендт о племенном национализме, на котором строит свое объяснение Барчунова, понятна. Не совсем понятно то, как этот тезис сочетается с традиционной прогосударственной, проэтатистской идеологией коммунистов. В этом контексте метафорическая враждебность “Завтра” “к государству как институту,” на мой взгляд, направлена не против “государственно-правовой формы деятельности как таковой”, а скорее, против определенной (например, либеральной) формы такой государственно-правовой деятельности. Помимо этого, в условиях оппозиционной риторики, “жертвенный” дискурс, пронизывающий тексты “Завтра”, является, пожалуй, одной из немногих форм символической самопрезентации, доступных коммунистической прессе. В этой связи вывод Барчуновой о том, что “многие тенденции, проявляющиеся в репрезентации женщин, имеют место и в репрезентации мужчин, геев и лесбиянок” (с. 72), кажется мне довольно логичным подтверждением общей идентификационной стратегии “Завтра”, связанной с культом страдания “под пятой оккупационного режима,” который не поддается частичной штопке и должен быть разрушен до основания. Во имя светлого завтра, так сказать...

Понятно, что в условиях финансового кризиса исследования типа “пол – потолок” без внешних источников вряд ли смогли бы обойтись. И у “Потолка пола” тоже есть своя этикетка – издание осуществлено при поддержке Фонда

Джона Д. и Катрин Т. Макартуров. В отличие от американских финансов, стиль этого издания, тем не менее, русский.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Brown W.* States of injury: Power and freedom in late modernity. Princeton: Princeton University Press, 1995.

*С. Ушакин,*  
кандидат политических наук,  
докторант факультета антропологии  
Колумбийского университета.